

“Я ...ЗАУРЯДНЫЙ УЧИТЕЛЬ...”

Мемуари сільського вчителя Іустина Євменовича Маріковського (1873–1946) написано в середині 1940-х років, незадовго до його смерті. Як епіграф до них автор використав дві цитати з твору О. І. Герцена “Минуле й думи” про те, що будь-яке життя – цікаве. На розвиток цієї думки І. Маріковський написав: “Я, саме, не велика людина, не знаменитість, а, навпаки, пересічний учитель, який пропрацював значну частину свого вчительського життя у найнижчих категоріях учительства. Але моя майже півстолітня праця в різних куточках нашої Вітчизни дає мені деяку впевненість щодо цікавості цих спогадів”.

І. Маріковський лишив Україну в 1905 р. і, як і багато його співвітчизників, переїхав на Далекий Схід. Якийсь час працював у товарній конторі, потім склав іспит на звання народного вчителя і займався вчителюванням до 1933 р., коли через погіршення слуху був змушений перейти на роботу до Бюро краєзнавства. Того ж року за сімейними обставинами переїхав до Узбекистану. З часом знову став шкільним учителем. У грудні 1939 р. Президія Верховної Ради УзРСР присвоїла йому звання заслуженого вчителя Узбекистану. 1941 року Іустин Євменович вийшов на пенсію.

Текст рукопису свідчить про те, що його автор – чудовий стиліст. Оповідь ведеться без поспіху, витримана в дусі літературних традицій ХХ ст., насичена фактологією з найрізноманітніших сюжетів: побут, взаємовідносини в учительському середовищі, між вчителем та селянами, вчителем та шкільними інспекторами, дозвілля вчителів, позашкільна робота (багатоденні виїзди на природу, праця на пришкольній ділянці, метеорологічній станції). У рукопису відображено й суспільно-політичні події: революційні події та окупація японцями Далекого Сходу, політичні репресії. Але погляд автора позбавлений будь-яких ідеологічних штампів, це – бачення подій пересічним громадянином.

Рукопис було збережено сином Іустина Євменовича, Павлом (1912 р. н.), добре знаною в Казахстані людиною, доктором біологічних наук, професором, письменником-ентомологом, автором численних видань про природу Казахстану, дослідником наскальних малюнків давніх людей, які колись мешкали в Семиріччі. Павло Іустинович передрукував текст спогадів на друкарській машинці, вніс до них незначні редакторські правки. На жаль, після цього він знищив автограф. А невдовзі Павло Євменович й сам став автором автобіографічної книжки, події в якій розгортаються на Далекому Сході, у Сибіру, в Маньчжурії, Узбекистані, Казахстані протягом 1915–2002 років. Обидва рукописи не публікувалися, зберігаються в Алматинському обласному державному архіві Республіки Казахстан. Увазі читачів “Архівів України” пропонується перша глава рукопису І. Є. Маріковського, де йдеться про його рідне село в Кам’янець-Подільській губернії, дитячі роки, набуття ним досвіду вчителювання. Заголовок глави – авторський.

Публікацію підготувала

Олена ГРИБАНОВА

© Олена Грибанова, 2008

Иустин Мариковский

Мои родители. Детство. Учитель школы грамоты.

Первый экзамен. Церковноприходская школа.

Село Беризки-Бершадское

Родился я в 1873 году в семье безземельного крестьянина села Сумовки Бершадской волости Каменец-Подольской губернии. Точнее говоря, отец только жил в этом селе, равно как и его отец и дед, но считался приписанным не к обществу села, а к волости. Такое положение объяснялось историческими причинами. Когда-то наши предки были потомками чиншевиков, то есть людей свободных, не крепостных, земледельцев, работавших на арендуемой у помещика земле, за которую вносили плату – чинш. При выходе крестьян на волю крепостные получали землю, чиншевики же на это права не имели и земли не получили. Кроме того, с той поры помещики перестали сдавать землю в аренду. И чиншевики, таким образом, остались не только безземельными, а оказались, кроме того, и вне общества своего села.

В наших местах, где единственным средством существования являлось только земледелие, отсутствие земельных наделов низвело несчастных чиншевиков на положение париев. Им пришлось заняться ремеслами: сапожничеством, портновством, прядением холстов, поденной работой у зажиточных крестьян и т. п. Надо принять во внимание, что в нашей местности количество надельной земли давало соответствующий вес ее владельцу; не имеющий ее, будь семи пядей во лбу, никаким значением не пользовался, и никто с ним ни в чем не считался. Еще даже в мое время местное коренное население – украинцы – этих чиншевиков именовали “шляхтичами”, хотя все они без исключения были православными, говорили на том же украинском языке, ни одеждой, ни всем своим бытом от остальных украинцев не отличались. Пожалуй, относительно вероисповедания старики “шляхтичи” сообщали, что во времена владычества над Украиной Польши ксендзы силой принуждали вступать в унию, которая служила переходом в католичество. Когда же Край был присоединен к России, то православные попы палками загоняли униатов в православие.

Не лишнее, полагаю, сказать несколько слов и о родном селе. Наименование его “Сумовка” произошло, по мнению некоторых стариков, от украинского слова “сумовать”, т. е. горевать, печалиться. Ведь село в прошлом стояло почти на границе с Турцией. Еще во времена Екатерины II город Балта, отстоящий от нас в верстах 40, был турецким. Татары и турки часто делали набеги на Украину, переправляясь вброд через реку Буг у села Сумовки. Во время таких набегов село сжигали, людей убивали или брали в плен. Село сумовало; оттого и назвали его Сумовкой. Хотя существовало и другое объяснение названия села. Многие говорят, что правильнее его называть Сомовкой, так как в реке Буг, протекающей у самого села, водились громадные сомы, которые даже нападали на купавшихся или переходящих реку вброд. Теперь, конечно, таких сомов нет, но если вспомнить, что в Крыму в давние времена сомы утаскивали воинов Митридата, то этому можно поверить. Как бы то ни было, но места эти служили в свое время ареной многих кровопролитий. Я сам неоднократно находил в нашем огороде железные наконечники стрел и копий. Среди населения существует много сказаний о случаях

нападения татар, турок, стычек запорожцев с поляками, украинцев с молдаванами (последних в сказаниях называют волохами).

Мои родители были православные. Первоначальное занятие отца было столярство. Это я знаю по некоторым смутным детским воспоминаниям, из рассказов своих старших братьев и судя по тому количеству разнообразных столярных инструментов, которые хранились у отца. Когда он стал церковноприходским учителем, я не знаю, но помню, что с самых ранних лет он уже учительствовал в своем родном селе Сумовка, получал 10 рублей в месяц от сельского общества за учительство и 5 рублей от церкви за устройство хора. Хор же он наладил такой, что он прославился на всю окрестность, и его неоднократно приглашали в другие села на торжества освящения церквей, на богослужения в храмовые дни, а также на всякие торжественные случаи у местной интеллигенции: свадьбы, похороны и т. п. Песнопения он выбирал подходящие к соответствующей обстановке, предпочитая Бортнянского, Турчанинова, Львова и других классиков церковного пения. Несколько раз архиереи, посещающие нашу церковь при обычных своих ревизиях, прослушав хор, предлагали отцу поступить в дьяконы, но он всякий раз отклонял предложения.

Отец был удивительно способный и талантливый человек. Решительно не знаю, какими судьбами он научился грамоте в то время, когда не было нигде поблизости школы. В его времена в селе грамотными были только поп и дьячок. Самоучкой отец изучил починку часов, переплет книг, настройку фортепиано. Также самоучкой он так научился немецкому языку, что не только читал немецкие книги, но свободно объяснялся с немцами-мастерами, воздвигавшими нашему помещику-магнату Собанскому дворец. Латинский и греческий языки он знал настолько хорошо, что по этим предметам готовил поповичей в духовное училище. Тяготение к иностранным языкам у него дошло до того, что он выписал из Лейпцига Библию на еврейском языке. Помню эту Библию по ее дивному кожаному переплету с тиснениями. Библия, положим, была с русским переводом. Так как в нашем селе синагоги не было, то иногда в субботу у нас можно было видеть местных старых евреев в их талесах при всей молельной амуниции. Курьезно было наблюдать отца, штудировавшего вместе с седобородыми евреями-стариками Библию.

Пока мы были малышами, бедность наша была большая, часто приходилось сидеть дома без куска хлеба. По мере же того, как мы стали подрастать и могли уже работать по земледелию, положение стало улучшаться. Особенно это стало заметно с возрастом третьего, четвертого и пятого мальчуганов. Два первых как-то скоро ушли из дома, а шестой на первых порах пользовался привилегиями в сельскохозяйственных работах, а потом тоже скоро ушел из дома на канцелярскую работу. Заработок отца от частных уроков с поповичами, готовящимися в духовные училища или получивших переэкзаменовки, а также от занятий с паничами – детьми поляков, служивших как в местной экономии, так и даже в отдаленных от нас селах, из года в год увеличивался и был по местным масштабам даже изрядным; но нам, его семейным, пользы от этого было мало. Чем больше отец зарабатывал, тем больше тратил денег на выписку книг и не только необходимых для преподавателя, но и для самообразования. Зато у него в конечном результате составила такая библиотека, равной которой и по количеству, и по разнообразию содержания я за всю свою жизнь не видел ни у одного учителя даже среднего учебного заведения.

Нам приходилось жить почти исключительно на 15-рублевое жалование отца. Естественно, что жить хотя бы в селе и даже при той дешевизне, которая

там тогда существовала, было трудно. В качестве иллюстрации, характеризующей тогдашний наш быт, приведу тот факт, что когда у нас завелся самовар (мне было тогда 6–7 лет), то нам, малышам, к чаю выдавали только по полкубика сахара-рафинада. Ходили в белье штопанном и перештопанном, а то и в таком, в котором было множество дыр. Читать и писать я научился самостоятельно от старших братьев, а в арифметике всегда был слаб. Поэтому, когда я был уже школьного возраста, то на уроки арифметики в школу и из школы меня из-за отсутствия обуви носил на плечах или старший брат, или кто-либо из товарищей.

Вообще отец мало обращал внимания на наше образование. Хотя тут он отчасти был прав: он так был занят школой, частными уроками, спевками, что у него не было времени возиться с нами отдельно, и учил он нас в ряду других учеников. Кроме того, его сильно обескуражило поведение моих двух старших братьев. Одного из них он определил в Коростышевскую (Киевской губернии) учительскую семинарию, а другого в Острожскую (Волынской губернии). И первый и второй семинарии не окончили, а поступили в канцелярии. Они, видимо, вырвавшись из дому на волю, сразу захотели независимой “вольной” жизни.

Продолжая характеристику отца, упомяну о том, что, читая разного рода книги, он по своему мировоззрению стал выше той обстановки, которая существовала в селе. Понятно, что это подмечалось и в его суждениях, и он скоро прослыл в нашей глуши за вольнодумца. Когда же ему пришлось по просьбам и доверенности сельского общества выступать перед судебными и административными инстанциями в защиту интересов общества крестьян, то его с легкой руки одного из помещиков ославили как “социалиста” и подстрекателя к бунтовству. Вследствие этого, наше скромное жилище, отстоявшее от города в верстах 50, было почтено два раза посещением жандармов, приезжающими с колокольцами. Надо считаться с тем, что означало посещение жандармов, особенно в такой глуши, каким было наше село.

Во избежание предположения у лиц, которые ознакомятся с моими воспоминаниями, что отец мой, может, был нечто вроде “аблакаты”, должен сказать, что он выступал только в защиту “мирских” дел, никогда не брался за дела частные, хотя и давал советы. Полагаю, что всякий, проживающий в селе [и] более или менее сведущий в делопроизводстве, и к тому же, сочувствующий безграмотному крестьянину, всегда не откажет в совете.

Тяжелые же дела общества крестьян села Сумовки к своему помещику “ясновельможному пану” Собанскому (известному в истории участнику совещания при Александре II в комиссии по обсуждению проекта освобождения крестьян от крепостного права) были такого рода: рабочие помещика, возившие сахарную свеклу с помещичьих плантаций в Бершадский сахарный завод межами крестьянских полей, потоптали во многих местах взошедшую озимь. По предъявленному в суд иску помещик уплатил обществу около тысячи рублей, которые общество потратило на достройку церкви, был также спор из-за продажи помещиком водки вопреки приговору общества, которое не желало открытия в селе кабака. И таких дел было несколько. Крестьяне были благодарны отцу и очень стали его уважать. Зато местный приходской священник был в большой претензии. И так как местное население сохранило у себя много обычаев, усвоенных во время польской власти, и в том числе целование рук уважаемых людей, то жители, особенно младшее поколение, целовали отцу руки. Священник видел в этом присвоение его прерогатив и этим был крайне недоволен. Об этом он неоднократно говорил, но как бы шутя, так как осложнять отношения с моим отцом было невыгодно: ведь мой отец

его четырех поповен подготовил к поступлению сразу в I класс епархиального женского училища, а двух его поповичей в I класс духовного училища. Таким образом, и поповны, и поповичи миновали подготовительные классы, а поп на этом избежал расходов.

Мать моя была неграмотная женщина, но труженица на редкость. Из-за детей она забывала о себе и не знала отдыха ни днем, ни ночью. Для нее не существовало праздничных дней или отдыха от будничной работы. В селе, как известно, не бывало столовых, прачечных. Чтобы прокормить нас только хлебом, она должна была через день печь его. Чтобы постирать наше белье, починить его, она целыми днями работала. И всех нас, десятерых, она вынянчила, выкормила. Ни один из нас не умер, не покалечился. Все выросли здоровыми.

Жили мы в собственном домишке, построенном отцом. Наша хата состояла из двух комнат, как обычно строятся украинские мазанки, но мы занимали только одну комнату из-за экономии отопления зимой, а также и по отсутствию средств к оборудованию второй комнаты. Можно было представить, какая у нас получалась скученность, при наличии десяти человек. Считаю не 12, а именно только 10, так как два старших брата рано выбыли из дому, до рождения младших сестер. Из-за такой скученности мне и моему младшему брату приходилось зимой жить все время в школе (благо она была в каких-нибудь ста метрах от дому). Домой приходили только пообедать и поужинать. Этому способствовало неимение при школе сторожа, которая обслуживалась учениками по дежурствам. Летом же мы жили на "баштане" (на бахче). На краю села находилось возвышенное плато, отделенное от села оврагами и двумя речками. С другой стороны плато обрывалось над рекой Бугом громадными утесами черного гранита. В некоторых местах утес был прямо недоступен, в некоторых же была возможность взобраться на плато. Площадь этого возвышения была, полагаю, десятин 20–25. Земля принадлежала помещику, и он сдавал ее в аренду. Арендаторы преимущественно сеяли там коноплю и бахчевые овощи.

С появлением на бахче первых овощей я строил из глины и нескольких жердей и травы шалаш и проводил там все лето, попускаясь иной раз обедом, лишь бы у меня был кусок хлеба. До сей поры мне памятны те дивные закаты и восходы солнца, какие я наблюдал из своих любимых мест на камнях утесов. Нет слов выразить их красоту! За рекою Бугом, на его левом низменном берегу, где располагался помещичий сенокос, имелось чистое озеро, обрамленное тополями со множеством птичьих гнезд. До самой поздней осени, вплоть до заморозков, я жил на бахче. Братья не часто составляли здесь мне компанию. Уединенная жизнь им не нравилась, я же очень любил жить и работать на бахче. Обработку бахчи, уборку и мочение конопли производил почти все я сам.

Как я уже сообщал, нас детей было 10 человек: шесть мальчиков и четыре девочки. По порядку рождения я был пятым. До семи лет я рос хилым и болезненным. Понятно, о лечении моем не было и речи. Да и где взять доктора в глухом селе! Смутно помню, что я иной раз стаканами пил из бутылки какой-то настой, боюсь ошибиться, кажется, настой лаврового листа. Дозировка и сроки приема представлялись на мое усмотрение. Помнится мне такой случай. Будучи уже семи лет, я настолько ослаб, что меня на мешке вынесли в сад помирать. Была весна, и притом яркий теплый день. Меня положили под цветущую грушу, около которой во множестве увивались пчелы. Эта картина и до сей поры мне ярко представляется. С того дня я стал выздоравливать и скоро стал большим озорником, чем были мои здоровые братья.

Когда старшие два брата ушли из дому, мы, остальные, стали работать в поле, то у зажиточных людей, то у попа и дьяка, а то и у себя на арендованной у крестьян или помещика земле. Вскоре ушел из дому и шестой брат, поступив в канцелярию волостного управления (поступил, как у нас говорили, помощником волостного писаря). Мы же: третий, четвертый и я, пятый из братьев, оставшиеся дома, работая не покладая рук, за какой-либо десяток лет успели обзавестись парой плохеньких, но все же способных к работе коней, коровой и мелким домашним скотом. Но нельзя этот успех приписать исключительно нашим трудам. Большую роль, пожалуй, даже большую, чем наш труд, имела тут денежная помощь, которую делал нам отец своими взносами. В селе кредит в налаживании сельского хозяйства имеет решающее значение. Сестры в полевых работах не участвовали: они помогали матери, тем более что они были самыми младшими в семье.

Я рос сельским парнем почти до 18 лет. Днем работал в поле, или вообще по хозяйству, вечером же ходил с друзьями на вечерницы. Лет в 16 меня возили в ту же учительскую семинарию в городе Остроге Волынской губернии, в которой в свое время обучался старший брат, но так как меня стипендиатом не приняли, то я возвратился домой. В эту поездку я впервые увидел железную дорогу и узнал кое-какие сведения о городской жизни. Понятно, что, пользуясь отцовской библиотекой, я много читал, но читанное мне казалось чем-то фантастическим, нереальным. Я, например, долго не мог верить и допускать за действительность покупку обывателями города воды.

Увлекаясь чтением книг, журналов и газет библиотеки отца, я поневоле, а то иной раз из желания поделиться чем-либо интересным, сообщал о прочитанном своей постоянной аудитории – сверстникам. Те рассказывали об этом другим. Особенно интересовались новостями из газет. Скоро у населения обо мне составилось мнение, как о “шибко грамотном”. В верстах 2–3 от нашего села отстояло небольшое село Кошарницы. Жители последнего в предположении, что из меня может получиться такой полезный учитель, как из моего отца, постановили пригласить меня на должность учителя их школы грамоты. Приходской их священник, считавшийся, как вообще всегда было принято в школах духовного ведомства, заведующим, меня утвердил в этой должности. Мне тогда было 18 лет. Условия оплаты были следующие: жалование 4 рубля в месяц и то только за учебное время (с 1 октября по 1 апреля). Рабочий день начинался с утра и кончался, пока можно было читать вечером. Деньги платило общество из своей раскладки. Школа помещалась в одной половине крестьянской избы, в другой половине жил крестьянин со своей семьей. Никаких парт не было. Вместо них были установлены на высоких кольях, вбитых в земляной пол, еле оструганные доски – это заменяло стол. Два ряда таких же досок около стола на низких кольях заменяли сиденья. Таким образом, один ряд сидевших у стола был лицом к учителю, другой же ряд всегда был обращен тылом. Если сидящему за таким столом желательно было выйти во время урока из-за стола, то он должен был нырять под стол и скамейку и только таким образом выбираться на пространство, откуда можно было попасть к двери. Никакой классной доски, а тем более других школьных пособий не было. В такой школе помещалось свыше 20 мальчиков, девочек же не было. Учить девочек грамоте, по мнению крестьян, считалось излишним. Возраст учащихся был от 10 до 15 лет. Старше этого возраста в школу не ходили, они уже считались незаменимыми в домашнем хозяйстве.

Школа в Кошарницах была организована впервые. До сей поры только единичные дети учились у дьячка. С большим трудом мне пришлось разделить учащихся

на две группы: совершенно неграмотных и знающих хотя бы кое-как грамоту. Неграмотных я стал учить по буквослагательному способу, для чего позаимствовал в школе отца разрезную азбуку. Для самостоятельного же упражнения в чтении давал на дом задания по “Грамматике” издания Киево-Печерской Лавры, единственного тогда известного учебника (если только его можно так назвать). Только к концу зимы я познакомил учеников с письмом и цифрами. Старшее отделение ограничивалось чтением учебника Священной Истории Ветхого и Нового завета, сочиненного протоиереем Дм. Соколовым. Для самостоятельного чтения на дом раздавались из этого учебника уроки, которые заучивались наизусть. Последнее требование не было моим собственным методом, а было проведено, как правило, Епархиальным Училищным советом по всем церковноприходским школам и школам грамоты. Задаваемые на память уроки по книжке предварительно объяснялись ребятам на украинском языке. Хотя требование учить уроки Священной Истории наизусть (“напамять”, как у нас говорят) и было отчасти нелепым, но оно у нас было единственным средством к ознакомлению ребят с произношением и значением слов русского языка. Эта группа писала уже под мой диктант только под конец весны. До той же поры долго упражнялись списыванием с книги. На первых порах ученики писали только на грифельных досках. Со старшей группой я занимался арифметикой по первой части задачника Евтушенко. Младшая группа только ознакомилась с цифрами и с самыми несложными работами на численные “примеры”. Когда я с одной группой занимался, то другой давал самостоятельную работу. И письменные задания и работы по арифметике, данные на дом, я обязательно проверял на другой день со всей группой.

Родители учащихся в большинстве случаев считали обучение арифметике роскошью. “Нам нужно только, чтобы дети научились писать и читать. Для чего им счет? Что они будут считать?” – говорили они. Только меньшинство соглашалось со мной. Вообще, я своими новаторскими приемами и отступлением от исторически введенных до сей поры методов церковного ведомства возбуждал недоумение среди родителей учащихся и недоверие в правильности ведения мною обучения. Только известное всем знание учительского дела моего отца помогало мне при ссылке на его авторитет выходить в таких пререканиях правым.

Как известно, крестьяне смотрят на грамотность только утилитарно, раз стал грамотным, то должен из грамотности извлечь материальную выгоду; без возможности получать пользу нечего и учиться. В данном случае крестьяне знали, что многие ученики отца, особенно те из них, которые попадали в город (быв призванными, например, на военную службу), пристраивались на “чистую” работу в качестве канцеляристов, помощников волостных писарей и т. д. Говоря об этом, нельзя не упомянуть, что один бывший ученик отца из крестьян нашего села на военной службе выбился в делопроизводители воинского начальника, т. е. стал офицером. Этот факт произвел потрясающее впечатление на местное население. Посему, то одно предположение, что я учу так, как учит мой отец, заставляло мириться с моими новшествами.

В нашей школе никаких школьных журналов и вообще никакой отчетности не велось, а тем более не было учета успеваемости. Все велось по-домашнему, на слово. Местный священник, считавшийся заведующим школой, в нее являлся крайне редко. За свою бытность там учителем я за два года видел его всего два раза. И в каждое свое посещение он говорил о сотворении мира. Причем он особенно подчеркивал то, что Бог создал тело человека прекрасным, и в доказательство красоты демонстрировал перед учениками с соответствующими слова-

ми свои руки, действительно пухлые, мягкие и белые. “И такое прекрасное тело создано из глины и в глину по смерти превратится”, – с сердечным сокрушением говорил он.

Никаких советов или указаний он не делал. По его требованию я должен был каждого дня по окончании занятий в школе приходить к нему и заниматься часа полтора с его сынишкой лет 8. Попович занимался охотно, уроки выполнял безоговорочно. Видно, ему без всяких занятий было дома скучно, тем более что у попа детей больше не было. Заводить же дружбу с крестьянскими детьми считалось у наших попов зазорным. Понятно, что занятия мои здесь не оплачивались и не компенсировались хотя бы чаепитием. Напротив того, звон стаканов, бряцание чайных ложечек давали мне знать, что урок должен быть закончен. Я был тогда настолько прост, что не только не тяготился этими уроками, но даже гордился ими. “Я учитель, – думал я, – уже учу не только сельских ребят, но и сына священника”. Чисто детское рассуждение, подобное тому, как маленькая девочка в отсутствии матери, взяв ключи от комода и буфета, посчитала себя хозяйкой. В сущности же эти private занятия мне очень мешали. Ведь я ходил ночевать домой, а работая в школе, завтракал сухим хлебом. Рабочий день продолжался до темного времени (как гласил уговор). Проведя еще полтора-два часа у попа, я шел домой темной ночью. Хотя идти было версты две, но дорога была не безопасная, по берегу реки Буга, очень крутому. В зимние ночи тут встречались стаи волков, в весенние же ночи было рискованно проходить из-за множества потоков талой воды, стремящихся в реку с обширных полей.

Не обращая внимания ни на что, я с ревностью вел свое дело в продолжение двух зим. Лето же я работал дома по хозяйству. Получаемые от занятий деньги я отчасти расходовал на свою обувь и одежду, а более значительную часть откладывал на поездку в город для того, чтобы держать экзамен на церковноприходского учителя. В свободное от занятий и от работы по хозяйству время я усиленно занимался подготовкой к экзамену. Считаюсь с тем, что экзамен на церковноприходского учителя по своей программе насыщен больше частью требованиями знания закона Божия во всех его видах, я усиленно зубрил на память богослужение со всеми ектениями и процедурой его свершения, пространный катехизис пресвященного Филарета, священную историю Ветхого и Нового завета. Меньше всего я готовился по русскому языку и географии. Остальные образовательные предметы в программе не упоминались, и я о них не печалился. Между прочим, не хвалясь, скажу, что по истории как отечественной, так и всеобщей, равно по естествознанию я был довольно начитан из книг отца, так как этого рода книги были моими любимыми. Но третий учебный год мне не суждено было обучать детей в этом селе, так как школа грамоты внезапно была закрыта.

Оказавшись без работы, я решил добраться до города Подольска и держать экзамен в Каменец-Подольской духовной семинарии. Я не описываю путешествия, так как это могло бы послужить самостоятельной темой повествования. Скажу только, что из Сумовки в Каменец я ехал около десяти дней. Из местечка в местечко я перебирался “балагулами” (еврейские извозчики), делал зигзаги, потому что местечки ведь располагались не по прямой линии.

В Каменце служил чиновником Губернского Правления самый старший из моих братьев, тот самый, который ушел из Коростышевской учительской семинарии. Волей-неволей он приютил меня, и я пошел хлопотать о приеме экзаменов. Экзаменаторы были довольно снисходительны. Трудно дался мне только пробный урок при семинарии. Учащиеся там были оборванные и бедовые мальчишки. По

всем данным их можно было определить как тот тип мальчуганов, который теперь именуется словом “беспризорник”. Когда я вошел к ним в класс, то некоторые из них стали насмехаться надо мною, строили гримасы, передразнивали меня. Когда же я проходил около парт, то ученики дергали меня за края куртки и шепотком говорили: “Дай покурить”. Я их понимаю: какое иное мог оказать на них впечатление простой деревенский парень, одетый в дешевого крестьянского сукна куртку, в смазанных сапогах. Заведующий этой школой диакон стоял в стороне и улыбался. Были тут еще два человека из испытательной комиссии. Они также стояли в стороне и разговаривали о своих делах.

Как бы то ни было, но в конечном результате мне дали свидетельство на звание церковноприходского учителя. Этому я был очень рад. Теперь я имел определенное звание. Кто у нас в селе имел такое звание? Даже отец мой и тот был без звания! И хотя я лично тогда не был знаком ни с одним учителем, но знал, что среди учителей школ грамоты и церковноприходских школ не было ни одного имеющего такое звание. Действительно, за последующую мою свыше десятилетнюю работу в школах епархиального ведомства я только один раз встретил учителя, имеющего звание, подобное моему. В большинстве же это были в лучшем случае уволенные из духовного училища дети духовных, псаломщики и пономари, совмещавшие учительство со своей основной службой в приходе, бывшие канцеляристы самого мелкого калибра, выгнанные за пьянство, самоучки из крестьян, мечтавшие через учительство попасть в псаломщики и т. д.

Получив в семинарии свидетельство, я с ним направился в Епархиальный учительский совет, там мне дали 7 рублей и направили на работу в какую-то школу в дальнем уезде. Я деньги взял, но, грешным делом, в ту школу не поехал, а вернулся домой в Сумовку. Оправданием такому поступку послужило то, что доехать до места назначения за полученные деньги не было никакой возможности. Кроме того, у меня с собою не было никакого имущества, кроме того, что было на мне, а возвращаться за ним домой значило еще более удорожить проезд.

Через несколько дней после приезда из города я отправился пешком верст за 10–12 в село Гордеевку к местному попу, состоящему наблюдателем школ епархиального ведомства тамошнего района. Посещать мне его пришлось несколько раз. Эти посещения производили на меня угнетающее впечатление. Обычно во дворе попов всегда имеется множество злых откормленных собак. Пройтись мимо них и достичь кухни приходилось с большим трудом. И неоднократно после сражения с псами приходилось слышать ответ “батюшки дома нет” или “подождите, уехал, может быть, приедут”. В кухне сидеть нельзя, так как ворчит прислуга. В село идти не к кому. Единственное доступное место – корчма (шинок). Там и сидишь, наблюдая пьянство, руготню, зачастую даже драки пьянствующих.

При удаче, когда поп дома,ходишь в кухню. Не было случая, чтобы он скоро выходил. Ему, видите ли, хочется повеличаться и заставить просителя промучаться в ожидании. Наконец, поп выходит. Целуешь ему руку: целование руки не за благословение, а в знак подчинения в польском духе. После этого поп обычно отвечает: “Мест нет никаких, приходите...” и называет приблизительный срок. В сущности, у него сведений о свободных учительских вакансиях и быть не может. Каждый поп для своей школы сам выбирал и назначал учителя, руководствуясь своими соображениями. Кстати, надо сказать, блаженной памяти попов (не знаю как в других местах нашего отечества, знаю и утверждаю про попов Подолии) в роли насадителей примитивов грамотности не выдерживали никакой критики. Во-первых, они тяготились школами, что доказывалось полнейшим, всем известным игнорированием ими

школ и теми обычными циркулярами, которые им по этому поводу слали архиереи, возглавлявшие Епархиальный Училищный Совет. Во-вторых, в большинстве своем попы не считали грамотность нужной народу. В этом я убежден и говорю не потому, что теперь модно их изобличать, а потому, что имею в своей памяти много фактов, поддерживающих истинность мною сказанного.

Знал я одного священника (в селе Матановка Гайенского уезда), который с пеной у рта доказывал о вреде грамотности для народа.

В неопределенном положении, без места, хотя с учительским званием в кармане, прошло два года. Все это время я помогал в школе отцу и работал по хозяйству. Хождение к наблюдателю школы продолжались бы не знаю, сколько времени, если бы не наш села Сумовка священник, который дал мне записку к священнику села Овсиевки, отстоявшего от нас в верстах тридцати. Были ли проделаны какие-либо формальности или нет, я не знаю. Полагаю, что не было никаких. Священник села Овсиевки со мною не разговаривал, не требовал от меня никаких документов, а только сказал, прочитав препроводительную записку: “Идите в школу и учительствуйте”. Теперь мне это кажется странным: по записке одного попа пришел к другому, по слову этого второго пошел к школьному сторожу, взял у него ключи и засел в той половине школы, которая считалась квартирой учителя. В квартире не было никакой мебели совершенно. С помощью сторожа внесли одну парту, и она заменила мне и стол и стул. Кровать сбили из досок, принесенных откуда-то сторожем. Столоваться договорился у дьячка.

Эта школа была более благоустроена, чем предыдущая в селе Кошарицах. В ней имелась черная классная доска, были даже парты, довольно неуклюжие, не такие удобные, как в школе отца, но все-таки парты. Имелся классный журнал, где велся учет посещения учащихся. Существовал, оказывается, школьный сторож, ведающий чистотой и отоплением школы. До меня здесь учительствовал крестьянин-самоучка и, видимо, был уже опытным учителем. Оказывается, он с успехом проделал свою карьеру и за достижения в школьном деле его возвели в сан дьяка. Учительство, значит, вывезло.

С постановкой школьного дела я был достаточно знаком, много раз помогал отцу в его школе в селе Сумовка, в школе, считавшейся по всему округу хорошо поставленной. Но там я делал все по указанию отца и под его присмотром, а здесь приходилось быть во всем самостоятельным. К тому же, там я выполнял отдельные задания вроде проверки письменных работ по русскому языку, по решению задач, наблюдал за работой и поведением учеников. Там я был то в роли помощника учителя, то в роли старшего ученика. Необходимо упомянуть, что такого рода работа поручалась и некоторым другим ученикам, и человек шесть ребят, в том числе и я, даже окончив школу, еще зимы две ходил в нее, занимаясь предметами выше положенных по программе. Отец применял так называемый ланкастеровский способ обучения младших ребят старшими и считал его рациональным. В его школе этот метод был даже необходим, где свыше 60 учеников приходилось на одного учителя.

В Овсиевской школе я порядочно хлебнул горя, не будучи искушенным учителем. Должен сказать, что я вел школу, без сомнения, хуже, чем мой предшественник. Зато я здесь кое-что постиг и мог быть достойным его преемником, но... я учительствовал здесь только одну зиму, так как на вторую, перед Рождеством, заведующий школой священник назначил учителем своего племянника, уволенного из духовного училища. За полтора года моего учительства школу никто из попов, которых было в этом большом селе двое, ни разу не посетил. Я был представлен сам себе.

Мое увольнение заведующий школой обставил, надо ему отдать справедливость (он мог и без того меня уволить) великолепно устроенной комедией. Я давал уроки его сыну, подобно тому, как давал уроки сыну попа села Кошаринец, тоже бесплатно, но только с такой разницей: после каждого урока меня угощали чаем со сдобными лепешками или пирожками. Чай был с сахаром в накладку и с маслом. Пирожки и лепешки были замечательно вкусными. Я по своей наивности считал это угощение вознаграждением, значительно превышающим мои труды. Однажды, придя к попу для того, чтобы заняться с его сыном, я застал священника читающим какое-то письмо. Прочтя его, он гневно бросил на стол листок бумаги, возбужденно забегал по комнате, потом обратился ко мне со словами сочувствия и сожаления: “Вот, дескать, наблюдатель школ, считая место учителя в нашей школе незанятым, назначил сюда учителя”. Я прекрасно понял его игру, но ничего не смог сделать, и вынужден был убраться.

Опять года полтора я был без работы. Летом работал в поле, зимою помогал отцу в его школе. Хождения к наблюдателю за назначением в какую-нибудь школу ничего не давали. Для получения учительского места в церковноприходской школе надо было заручиться протекцией попа того села, где было вакантное место учителя школы.

Мне было уже более 22 лет. Я отбыл воинскую повинность в ополченческом сборе, будучи ополченцем первого разряда. В это время я списался со своим старшим братом Иваном, который был учителем церковноприходской школы села Деренькова. Он вызвал меня к себе, намереваясь передать место учителя, занимаемое им. Село это имело еще и другое название – Севериновка. Расположено оно было на реке Каменке, находилось в глубокой долине и отстояло в двух–трех верстах от реки Днестр. Местность здесь была удивительно красивой. Вдоль Днестра имелись такие стремнины и скалы, какие могли быть описаны только Гоголем. Я знаю, например, такое место, где проживала семья в убогой хибаре, сложенной из опоки. Весь склон правого берега, спускавшегося к реке, был круто обрывистый, высотой не менее трехсот метров и покрыт кустарниками. Между этим склоном и берегом реки была длинная узкая полоса земли, заросшая разными деревьями. Попасть туда мог не всякий. С первых же шагов тропинки надо было обогнуть нависший над пропастью громадный треугольный утес. Широкой своей стороной этот утес примыкал к полю, а по сторонам его находились камни. Для того чтобы попасть на другую сторону утеса, надо было, огибая утес, переносить ноги над бездной. Да и дальше тропинка изобиловала всевозможными подобными сюрпризами.

Село Севериновка было населено преимущественно молдаванами, народом добродушным и большей частью зажиточным. Мужчины по-русски говорили почти все, женщины же или совсем не говорили, или говорили очень плохо. Хуже всего, что знавшие русский язык почему-то стеснялись на нем говорить. Мой брат в это время определился в какое-то такое учреждение, название которого я не могу припомнить, знаю только, что оно ведало делами введенной тогда казенной продажи водки. Понятно, ему было выгодней тогда получать рублей 40 жалования вместо 15 учительских. В этом селе он женился на своей ученице и жил в доме тестя. К тому же брат хорошо знал канцелярское дело, так как раньше несколько лет был помощником волостного писаря и письмоводителем у местного благочинного. Брат радел мне как брату, успел подговорить благочинного, терявшего с его уходом дельного письмоводителя, что я буду его заменой. Впоследствии я не оправдал в этом отношении ничьих ожиданий, и даже избегал ходить вблизи дома

благочинного, а тем более попадаться ему на глаза, так как в канцелярских делах был совершенно несведущ. Благочинный, надо сказать, был человек добрый. Он мне не мстил и ничем не выявил своего неудовольствия. Брат также успел расхвалить меня, как я впоследствии узнал, и перед священником села Деренкова.

В этом селе брат пристроил меня на хлеба у своего тестя, Исванаса Вершигоры. Несмотря на свои шестьдесят лет, это был крепкий молдаванин. Жена его по-русски говорила очень плохо. У них я прожил несколько зим, уезжая на лето в Сумовку, где оставались два крестьянствующие брата, успевшие развести довольно солидное хозяйство. У них уже была пара лошадей, корова, телка и разная домашняя мелкая живность.

В новой школе я был более или менее на месте. Недостатком же моим было то, что не умел завести церковный хор. При брате его хор славился. Я не знал теории пения и, будучи испокон века индифферентным к религии, не удосужился изучать искусство пения и руководство хором. Обучение грамоте шло успешно, хотя большую трудность создавало мое незнание молдаванского языка. Иной раз возникали довольно неприятные положения. Например, помню, раз я задал третьему отделению выучить наизусть таблицу мер длины. Как известно, она читалась так: миля имеет 7 верст, верста – 500 сажень, сажень – 7 футов, фут – 12 дюймов. Для решения задач таблицу мер длины, таблицу мер веса необходимо было знать наизусть. При проверке выученного никто из третьего отделения не смог рассказать полностью таблицу. Дойдя до неизвестного слова, отвечающий, крайне сконфуженный и покрасневший, сел на свое место. Крайне удивленный этим и видя, что даже самые хорошие ученики не знают полностью таблицы, я заподозрил со стороны учащихся злой уговор изводить меня, хотя и знал, что причины для этого не было. Рассердившись, я стал громко несколько раз повторять то слово (ту единицу мер длины), на которой учащиеся осекались. Во всем классном помещении воцарилась мертвая тишина. Все ребята всех отделений сидели понурившись и даже как будто дышать перестали. Недоразумение выяснил сторож школы. Он вышел из комнаты моей квартиры, прилегающей к классу, и позвал меня. Когда я подошел, он сказал: “Это очень нехорошее слово”. В моей комнате наедине он перевел его на русский язык. Действительно, это слово на молдаванском языке звучало скверно. Меня и теперь при воспоминании этой сцены трогает та стыдливость, с которой дети молдаване реагировали на такое скандальное слово. И не раз впоследствии, учительствуя уже в городах, я невольно отдавал предпочтение неиспорченности детей простачков молдаван, сравнивая его с поведением детей горожан. Последние иногда с умыслом выискивали похабщину в словах, рисунках и т. п., даже там, где ее не было, и видели в этом какое-то молодечество. После описанного случая я стал с большой осторожностью относиться как к своей устной, так и к печатной русской речи. В этом отношении мне много помогло то, что ко мне, как имеющему звание церковноприходского учителя, дали двух помощников. Два крестьянских парня лет 18, сыновья местных жителей, окончившие в свое время эту же школу, должны были помогать мне в школе, под моим руководством приучаться к школьному делу, чтобы впоследствии стать учителями школ грамоты. Не помню, чья в этом была инициатива, но знаю, что их мне, можно сказать, вручил поп – заведующий школой.

Несколько слов об этом священнике. Священников, заведующих школами, а равно и не заведующих, я ни разу не видел более или менее религиозными. Этот же был настолько религиозен, что, читая в церкви в положенное время обедни Евангелие, всякий раз от умиления плакал. Среди подольских попов с прихожана-

ми он на редкость обращался по-человечески: не отягощал их поборами за требы, не наводил на них страха. Надо же сказать, что в Подольской губернии священники вели себя, как чиновники, имущие большую власть. За редкими исключениями попы не ездили в бричках, а всегда пользовались фаэтонами, иной раз с запряжкой четверкой лошадей. Причем кучер обязательно должен был уметь “бить в бича”, т. е. громко хлопать кнутом. При проезде или проходе попа по селу всякий встречный или встречная, даже целая толпа крестьян, должны были встать и снять шапки. Многие из попов так наживались, что покупали, хотя и не большие, имения, но такие, с дохода которых можно было привольно жить. Наше село Сумовка было не особенно доходное, но наш поп, живя в довольстве, воспитывал в духовных училищах и семинарии шестерых своих сыновей и успевал каждый год откладывать в банк не менее тысячи рублей. Что же значила тогда тысяча рублей можно представить, если за нее можно было купить не менее 25 коров.

Религиозность нашего попа меня крайне изводила. Я должен был подавать учащимся пример благочестия. Никогда нельзя было опустить какое-либо богослужение. Особенно трудно было говеть. Я должен был со всей школой ходить в церковь несколько дней. Между тем на Украине говенье занимало только 2 дня: день исповедь и день приобщения. Здесь же требовалось хождение в церковь почти целую неделю. Вообще же мое неумение наладить хор и безразличное отношение к церкви было причиной того, что мой поп часто читал мне нотации. Они так угнетали, что я решил бросить работу и остаться без службы, хотя меня это сильно не устраивало, так как мой старший брат женился и завел свою семью, в которой я был излишним. Я мог рассчитывать на кров и питание, но кроме этого у человека, как известно, имеются и другие потребности. Нужны, например, средства на обувь, одежду и т. п. А главное, чувствовалась необходимость быть совершенно самостоятельным. Надо было думать и о будущем. Угнетала мысль погрязнуть на всю жизнь в роли церковноприходского учителя. Положение же этого рода было самым плачевным, почему на должность учителя и смотрели только как на переходную ступень к карьере дьячка. Из дьячков попасть в диаконы удавалось уже не всякому, и такие случаи были единичны. Самый захудалый помощник волостного писаря считался более важной персоной среди деревенской интеллигенции и в глазах местного населения. Писарьки эти еле снисходили до знакомства с учителями. В этом ничего удивительного не было, так как учителя были или полуграмотные ребята, или выгнанные со службы за разные провинности. И так как раньше делом грамоты при церквях ведали испокон дьячки, то теперь с введением положения о церковноприходских школах на учительствующих в этих школах общество смотрело как на некоторую надстройку к классу, притом самую незначительную по своему материальному положению. Последнее же во все времена являлось мерилом значения.

Православное духовенство, взяв в свои руки первоначальную грамотность в деревне, не приложило к этому ни труда, ни средств и не только не достигло укрепления среди народа религиозности, но, напротив того, способствовало усилению штундизма и разного рода толков и верований, отвлекающих от догматов православия, охлаждению к церкви. Чтобы не быть голословным, укажу на тот факт, что возникновение и распространение штундизма в нашей губернии и вообще в юго-западном крае вполне совпало с введением церковноприходских школ. Естественно, что церковноприходские школы со своим обязательным обучением только по часослову, псалтырю, чтению из четырех евангелистов, при полнейшей безграмотности своих воспитанников, формировали из них начетчиков, которые

каждый по-своему толковал то или другое место Евангелия, извращал смысл его и, в конечном счете, создавал свои собственные религиозные убеждения. Если же принять во внимание обязательное каждого дня схоластическое обучение на память Закона Божьего (что требовалось в церковноприходских школах расписанием уроков, составленным Пресвященным Димитрием), принудительное и частое посещение церкви, особенно в дни великого и других постов, когда богослужения особенно продолжительны и скучны, то на все это молодое поколение смотрело как на наказание. Это впечатление в дальнейшем переносилось на все относящееся к церкви. Всякому легко понять, что факт практиковавшегося, как в католической, так и в православной церкви, наказания (эпитимия) обязательным прочтением длительных, часто без всякого смысла молитв, равно как и такое же наказание в школах, не носило в себе характера стремления души, порыва сердца к Богу, а было насилием над чувством наказуемого.

Когда я учительствовал в селе Деренькове, дочь нашего сумовского попа была выдана замуж за семинариста духовной Семинарии, который получил место священника в селе Беризки-Бершадские. Село это отстояло от моего родного села к северу в верстах 12–15 и было расположено на берегу той же реки Буг, но выше по течению. Почему оно называлось Беризки, и притом Бершадские, совершенно непонятно, так как нигде тут не было и в помине берез, которых вообще в нашей местности почти никогда не встречалось. Местечко же Бершадь, от которого село приобрело придавок к своему основному названию, отстояло довольно далеко, и между этим селом и местечком находилось несколько промежуточных сел и даже довольно крупных. Местность здесь довольно интересная, земельные наделы крестьян начислялись десятинами, что в Юго-Западном крае было редкостью, так как земельной мерой преимущественно считалась там “морг” – польская мера длины. Здесь тягостным сорняком было перекасти-поле, которого вообще в густо населенных местностях Подольской губернии я не видел. На лугах, на межах полей изредка встречался ковыль – степная трава. Помещиком тут числился некий Лупандин, именно только числился, так как никто из местных жителей, даже старожилы, его никогда не видел. Была в селе только его экономия, возглавляемая экономом-поляком и другими работниками, тоже поляками. По всей вероятности, это имение арендовалось поляками, но это делалось втихомолку, потому что аренда поляками земель была запрещена законом. На противоположном от села берегу Буга находилось громадное пространство лугов, полей и редкого дубового леса, принадлежавшее помещику Столыпину, которого здесь тоже никто никогда не видел. О нем говорили, как о какой-то легендарной личности, существующей где-то не то в Петербурге или Москве, не то за границей. Усадьбы помещика с его жильем тоже не было. Был только один дом, довольно крупный, и для местных жителей, не знающих каких-либо больших зданий, казавшийся “дворцом”, но для богатого помещика совершенно непригодный. Был ли этот помещик тот Столыпин, который сыграл впоследствии незавидную роль в истории России, или только родственник или однофамилец, никто не знал.

В свою бытность в этом селе я тоже арендовал участки земли у Столыпина и также не знал о нем ничего.

Поп нашего села Сумовки находился под ошибочным предположением, что я могу устроить его зятю в церкви такой же хор, какой ему устроил в Сумовке мой отец. Поэтому он предложил мне (вернее, не мне, с которым он считал ниже своего достоинства разговаривать, а моему отцу) перейти из школы Деренкова в школу Беризок. Происходило это летом, я был дома. Полевые работы были уто-

мительны: брат развел большое хозяйство. Возвращаться в Деренково не хотелось из-за придиричивого, фанатичного попа, и я с удовольствием согласился на новое назначение. И это назначение, в виду решения заинтересованных в этом попов, произошло для меня совершенно без каких-либо хлопот. Получив записку от попа-тестя, я поехал к попу-зятю, поцеловал его руку и отправился в школу. Относительно школы и своей учительской квартиры оказалось, что я прогадал. Школа оказалась зданием большим, чем обыкновенная хата зажиточного хозяина, и ранее принадлежала сельской расправе. Так назывались выстроенные в каждом селе по выходе крестьян на волю помещения, при которых собирали народ на сельские сходы. Дом делился, как обычно делятся украинские домики, на две половины. Одна половина была отведена под класс, другая под квартиру учителя. Последняя в свою очередь была разделена на две комнаты: одну, большую, с обогревательной печью, и другую, меньшую, с так называемой русской печью, т. е. печью для варки пищи. Разделяющий на две половины дом коридор, или по-местному сени, был в поперечном направлении разделен на две части, из которых задняя исполняла назначение карцера для провинившихся против власти или кодекса села сельчан. Перегородка состояла из длинных и крепких жердей, укрепленных в полу и потолке.

Неприятным для школы наследием от прежнего назначения дома было то, что крестьяне, даже безо всякого сельского схода, имели обыкновение собираться на крыльце школы и кругом его и обсуждать свои дела, а так как дела были всякие и часто спорные, то они уснащались крепкими словами, которые не соответствовали духу школы. Это было тем более тягостно, что кабак помещался напротив школы через улицу. Каждый арест пьяного буяна завершался его посадкой в арестантскую, находившуюся в школе. Можно себе представить состояние учащихся, когда какого-либо драчуна туда садили. Если это был беспокойный субъект, то все время его пребывания в арестантской сопровождалось фонтаном обычного в таких случаях красноречия, ничего общего с назначением школы не имеющего. Так как я считаю, что в этой школе я именно получил учительскую подготовку и закалку, то должен описать и материальную ее обстановку.

В школе никаких школьных пособий не было. До меня тут учительствовал только одну зиму престарелый чиновник какой-то Контрольной палаты. За тот один короткий час, который он мог посвятить мне, сдавая школу, я узнал, что никаких учебных пособий школа никогда не имела и рассчитывать на их приобретение не могла. Школьная мебель состояла из нескольких досок, водруженных на кольях. В углу школы висела работа какого-то доморощенного маляра, изображавшая не то сгорбленного или даже согнутого в дугу старика, не то, может быть, какого-то святого. Полагаю, по месту нахождения этого изображения в правом переднем углу комнаты, что это был святой. Впоследствии я отождествил изображение этого старика со святым Серафимом. Но ни я и никто из жителей села в этом уверен не был.

Журнала записей уроков и посещений учащихся не было. Школу посещали весьма неаккуратно и то только тогда, когда сотский и староста ходили по селу и силой выгоняли ребят на занятия. Прибегали же к этой мере только после настойчивых требований священника, а иногда и волостного писаря, ратующего не столько за просвещение, сколько за непроизводительную трату сельских средств на оплату учителя и на отопление школы в зимнее время. Отопление школы производилось соломой и при цене воза соломы в 60 копеек выражалось суммой за зиму в 3–4 рубля. Расход был бы еще меньший, если бы сторож школы, живший поблизости, не уносил бы солому для отопления своей лачуги.

Раньше в этом селе жил поп-вдовец, горчайший пьяница. Школьный сторож был его завсегдашним собутыльником. По смерти попа-алкоголика сторожу пришлось трудно насчет выпивки. Но он все-таки успевал где-то раздобыть средства и часто приходил в школу, едва держась на ногах. Имя было его Платон, и он особенно был пристрастен к различного рода философствованию. За это же он часто приходил в школу расцвеченный синяками, что было следствием споров с односельчанами. Мне он часто надоедал своими назойливыми и пустыми рассуждениями. Зато он был незаменимым в решении житейских вопросов, особенно касающихся отношений с селом. Сельское общество меня встретило враждебно из-за моего непоколебимого старания наладить школу. Оказалось, что раньше, до приезда нового священника, школы в селе совершенно не было. Прежний же священник-алкоголик всегда и вечно был пьян. Некоторые зажиточные поселяне обучали своих детей у пономаря. Программа его обучения состояла (и это в случае успеваемости учащегося) в первый год обучения по “грамматике” – азбука и молитвенник издания Киево-Печерской Лавры; второй год – часослов, употреблявшийся при богослужении в церкви, издания большей частью Синодальной типографии не то Московской, не то Петербургской лавры. Третий год предназначался на чтение из четырех Евангелистов – это были избранные места из Евангелия. На четвертый год приступали к чтению Евангелия и тогда же обучение по письму. Понятно, что только редкие и особенно одаренные шли так быстро в прохождении этой программы. В большинстве случаев количество лет удваивалось и утраивалось. Насколько же учащиеся научились чтению, было видно при их проверке. Они могли читать только по своей книге, начиная с первого слога. Если же требовали читать с другого места урока, ученики способность к чтению теряли. Оказывается, ученики все свои уроки выучивали наизусть. Единственным учебным пособием была указка – длинный тонкий прутик, которым водили от слова к слову. Первоначальное обучение грамоте происходило после выучки названий всех букв: Аз, Буки, Веди и т. д. Обучение чтению было такое же архаическое. Чтобы прочитать, например, слово “букварь”, происходила такая процедура: букиук – бу, каковеди – кв, аз – буква, рцы – ер, – букварь. Писали исключительно гусиными перьями, несмотря на то, что уже существовали всюду употреблявшиеся стальные перья. Одним словом, тут существовала школа 17–18 века. Поэтому, когда я приступил к учению по звуковому способу при помощи разрезной азбуки и одновременно стал обучать письму заучиваемых букв, сперва грифельами на аспидных досках, а по мере ознакомления с письмом и на бумаге, да еще стальными перьями, то на меня стали смотреть как на ненормального. Большую роль в ускорении среди населения такого обо мне мнения имел сам пономарь Никодим Пшеничный (вот совпадение для лица, существующего на пшеничные калачи прихожан). Ведь он терял и свой авторитет среди населения, и, главное, терял доходы от своей школки. У него долгое еще время были учащиеся преимущественно из семей более богатых и религиозных крестьян.

До сих пор меня крайне удивляет та приверженность к старому, которая тогда существовала среди населения. По правде сказать, они мне могли не доверять. Я же не мог сразу за одну зиму изменить их отношение ко мне. Тем более, что мое обучение требовало от крестьян затрат, хотя стоимость грифеля и доски были ничтожными, но все же на это требовались деньги. Денег же у населения всегда было мало. Достаточно сказать, что поденная плата была 15–20 копеек, а летом целый день с утренней до вечерней зари на свекловичных плантациях в редких случаях заработок доходил до 30 копеек и то только взрослому рабочему. Под-

ростки и женщины получали меньше. Население состояло из хлеборобов; безземельных тут почти не было. Хлеб был, но денег не было. Зарабатывали только летом на свекловичных плантациях и то почти гроши.

Если в школе не было школьной мебели, то ее совершенно не было и в учительской комнате. Кровать мне соорудил Платон из двух ящичков и каких-то корявых тесин. Тот же Платон примостил к стенке колченогий столик. На другом берегу Буга напротив нашего села находилось большое торговое село Джулинки. Там за 1 рубль 20 копеек я купил нечто вроде жестяного самоварчика на трех лапках, керосиновую лампу и жестяную кружку. Постель я привез из дому: дерюгу грубой крестьянской работы и маленькую подушку. Об одеяле и не было речи, его заменяло мое пальто из грубой шерстяной ткани. Оно разнилось от обычных крестьянских армяков только фасоном. С собой я привез, помнится, не больше 5–6 рублей денег. Часть их я израсходовал на свой инвентарь. Вопрос же питания остался неразрешенным. На первых порах меня выручал древний русский обычай, который заключается в том, что при приводе в школу новичка учителю приносили и хлеб. Хотя тут не особенно поддерживали этот обычай, но все-таки некоторое количество хлеба ко мне поступило. В дальнейшем же, когда поступление хлеба прекратилось и запасы его иссякли, мне пришлось покупать в лавочке у еврея Моти булочку за 5 копеек, которая вместе с селедкой в 3–4 копейки и конфетой составляла весь дневной рацион. Но средств и на это хватило не долго. Покупать хлеб у населения было нельзя. Никто из местных жителей не решался продавать печеный хлеб. Этого здесь не было в обычае. Всякое же обращение о продаже хлеба принимали за просьбу дать его, пожертвовать. В таких случаях получалось нечто похожее на просьбу о милостыне. Понятно, что это, несмотря даже на все тягости голодовки, было для меня не по душе и совершенно неприемлемым. Приходилось голодать. Обращаться к кому-либо из местных жителей взять меня в нахлебники я не хотел не только по нерешительности своего характера, предубеждения о враждебном ко мне отношении, а также еще и потому, что никто не решился бы меня взять в столовники. В селе не было еще такого случая столования. Теперь мне кажется, что еще сказывалось непонимание мною окружающей обстановки и жизни. Ведь тут я впервые и по-настоящему был предоставлен сам себе и жизни, несмотря на свои уже порядочные годы, совершенно не знал. Учительствуя в Кашарницах, я, собственно, жил дома. Учительствуя в Деренкове, я жил в доме тестя моего брата, как у себя дома. Насколько помню, там и речи не было о плате за стол. Также и в Овсievке было, где я сразу попал в столовники к псаломщику. Там счета у нас были своеобразные: с его семьей я ел-пил и голодал, строго не считаясь.

Так как учащиеся (исключительно мальчики, девочек совершенно не было) были разной степени подготовки, то я разделил их на группы. Но и тут, казалось бы, в деле простом и притом исключительно педагогическом, я совершил, по незнанию прежних устоев школы Никодима Пшеничного, большой проступок, задевший интересы родителей учащихся. А Пшеничным даже трактованный как нарушение канонических правил православия. С новичками было просто, так как они в грамоте еще ничего не понимали. Во вторую группу попали большей частью учившиеся уже по грамматике (молитвеннику). Некоторые из них учили еще молитвы утренние, другие - вечерние, т. е. кто сколько успел за прошлую зиму. Так же было и с остальными группами, проходившими часослов и псалтырь. Сколько ни было учащихся, каждый шел своим путем и учил свое, сколько успевал. Объединив же учеников в группы, рассчитывая совершенно изъять в ка-

честве учебников по чтению церковнославянские книги, я не мог не считаться с тем, кто проходил какое место своей книги, а выбирал одно общее место. Но так как вообще чтение у них было очень слабо развито, то я начал почти с самого начала, обидев этим тех, кто прошел дальше в своей зубрежке.

Я настаивал на покупке учебников на русском языке (“Родное слово” Успенского), которые имелись в продаже на базарах у разносчиков, но, видимо, мои пояснения не доходили до сознания учащихся, а родителями отвергались еще потому, что требовали затрат. Все это привело к тому, что крестьяне решили изгнать меня из села. Был даже случай, когда родители одного ученика, разобиженного возвращением его с пройденного к началу, напившись пьяными, благо шинок был близ школы, заявили ко мне с намерением подраться. В этом происшествии я вышел победителем, так как, хотя и чувствовал себя больным, но нашел достаточно сил, чтобы с треском выпроводить за обе двери пьяных. Наш молодой поп, совершенно равнодушно относившийся к школе, все-таки взял мою сторону, и только благодаря его авторитету в религиозных делах меня не стали, по крайней мере, подозревать в проступках против религии. Но сомнение в пригодности моих педагогических мероприятий оставалось.

Обучая новичков по разрезной азбуке и звуковому способу, я одновременно обучал их письму и началам арифметики. То же я старался провести и в других группах. Не буду описывать, как я умудрялся проводить разницу в обучении письму и арифметике между второй и третьей группами. Собственно говоря, можно с успехом было их слить в одну группу, но мне хотелось, чтобы школа по своей даже конструкции походила на школу. Крайне мешало нежелание родителей учеников тратить на грифели, аспидные доски, книжки и, в скором времени, на чернила и бумагу. Ценою больших усилий и различного рода ухищрений удалось школу поворачивать по намеченному пути. Забегая вперед, скажу, что когда мои ученики к концу года могли прочесть повестку, присланную из волости, или подсчитать заработную плату, следуемую отцу или соседу за определенное количество проработанных в экономии дней, то с этого времени и отношение ко мне лично и моим школьным мероприятиям изменилось к лучшему. Соответственно изменился и взгляд на затраты по школе. Когда же к концу второго года я подготовил несколько ребят, и они выдержали экзамены за церковноприходскую школу и получили свидетельства, в которых было напечатано, что выдержавшие экзамен имеют право на льготу при воинской повинности, то тогда я стал так авторитетен, что уже никто и не думал меня оспаривать.

Но это произошло только по истечении второго года. На первых же порах мне приходилось в этом селе тяжело. На сходках крестьяне требовали моего изгнания. По селу я не решался проходить, так как мне вдогонку кричали ругательства. Я голодал. Зарплату выдавали крайне неаккуратно и только после неоднократных просьб к священнику или просьб в волости. На получаемые деньги я покупал пшеничной и гречневой крупы. Хлеб ел редко и то в виде булочек, которых старался покупать возможно реже, так как их стоимость истощала мой бюджет. Кашу я варил в печке своей квартиры. Но это происходило не часто, так как при школе не всегда бывала солома. Кроме того, с этой кухней у меня происходили нередко странные истории. Уходя, например, в класс на урок, я задвигал в истопленную печь горшочек с крупой. Возвращаясь с урока, приходилось убеждаться, что горшочек лежит на боку, а каша отсутствует. После поисков каша обнаруживалась в золе. Оказывается, причиной этому являлось излишнее количество сухой крупы. Набухая, она поднималась над горшком, вылезала из него и, перевесившись через край, опрокидывала горшочек.

От частого голодания и повседневного недоедания у меня развилось что-то вроде голодного тифа. Сидя даже в школе я бредил, мне чудились какие-то бесформенные видения. Желудок так разболелся, что мне казалось, что меня резали. Легко себе представить, как это отражалось на обучении ребят. Понятно, в таком состоянии я не мог быть полноценным работником. Дело доходило до того, что были случаи, когда я ложился вечером в свою кровать, лежал пластом всю ночь и утром, приходя в чувство, замечал себя покрытым инеем, на котором виднелись следы мышей. Один из родителей моего ученика, Ильи Ревученко (с благодарностью, даже теперь, спустя почти полвека, вспоминаю его теплое участие), запряг лошадей и отвез меня в соседнее село, где был фельдшерский пункт. Там мне написали и выдали пакетик с александрийским листом (слабительное). Ревученко накормил обедом и привез обратно в школу. Понятно, лекарство я не принимал. Мне оно было непригодно. Для выздоровления был необходим другой пищевой режим. Почти тогда же в школу зашел священник и, увидев мое положение, предложил мне следующее: он будет присылать мне всю зиму обеды, а я за это должен буду летом работать по его хозяйству на должности как бы надсмотрщика. Надо сказать, что поп этот завел большое хозяйство: пары четыре лошадей, две пары волов, сельскохозяйственный инвентарь. Он заключил с сахарным заводом контракт на поставку сахарной свеклы с нескольких десятков десятин земли, которую заарендовал у помещика. Не знаю, кому была выгодна предложенная комбинация, но я согласился. С той поры мне в школу присылали с поповского стола обед и ужин с достаточным количеством хлеба.

Прошла зима. Весной с первых чисел апреля школа опустела. Ученики взяты родителями на работы. Каждый мальчик в сельском хозяйстве имеет и несет сильную работу. Я стал выполнять условие и работать чем-то вроде эконома у попа. Думаю, что ему со мной в этом отношении повезло. Как раз с наступлением теплых дней на улице попа укусила какая-то забеглая собака, которая и была убита как бешеная. Попу пришлось ехать в Одессу в Пастеровскую лечебницу для предохранительных прививок от заражения бешенством. Тут-то я его и выручил. Приходилось мне целыми днями ходить за сеялкой и наблюдать за аккуратным посевом свеклы. За день, бывало, так умаешься, что, придя вечером в поповскую усадьбу со всем хозяйственным инвентарем: сеялкой, плугами, боронами, катками, людьми, рабочим скотом, еле дотянешь ноги до своей учительской квартиры (к счастью, она находилась очень близко от поповского дома) и, упав на постель, спишь не раздеваясь. Кажется, что только лег, как меня уже будят снова выходить в поле на работу.

Так прошло лето. Наступила вторая зима и второй год моего учительства в этом селе. За лето я успел завести знакомство со многими сельчанами. И удивительное дело: увидев мою работоспособность по хозяйству и его знание, они стали ко мне относиться благосклонно, и такое отношение перенесли и на школьные дела. Это заметно было и по притоку новичков, и по поступлению в школу девочек. К этому же времени любители хора церковного пения, состоявшего из нескольких парней, девиц и взрослых, стали навещать ко мне в школу и просить помощи. К сожалению, у меня не было ни хорошего голоса, ни, тем более, знания теории пения. Это было непростительно, потому что я мог научиться в свое время у своего отца. Как бы то ни было, мне волей-неволей пришлось руководить этим хором. В церковном архиве нашлись кое-какие ноты богослужебных песнопений, изданные, помню, по написанным по ним датам, еще в царствование Николая I. Нотные тетради были разрозненные. Не хватало басовых тетрадей. Не

было также партитуры. Вспоминая теперь эти ноты и узнав впоследствии о характере упомянутого самодержца, я полагаю, что с распоряжением об издании этих нот был издан приказ об обязательном их применении в церквях, так как царем руководило только одно намерение – завести во всех церквях подведомственной России однообразное пение, пение по приказу начальства, без внесения в него какого либо вольнодумства. Во всяком случае, эти ноты послужили нам на пользу. По ним я ознакомил своих певцов с кое-какими, мне известными, как бывшему хористу хора своего отца, сведения о нотах. Во время своих, хотя крайне редких и случайных поездок в Сумовку я успевал заимствовать у отца ноты простых несложных церковных песнопений и смог внести их в наш несложный репертуар. Теперь с восхищением вспоминаю некоторые дивные голоса наших хористов. Отличался своей высотой, звонкостью и даже бархатистостью дискант мальчугана лет 16 по фамилии Когута. Был также замечательный тенор – парень лет 24, сын местного кабатчика. Голос у этого парня был замечательный, но для нашего хора певец был не совсем удобен, так как на спевку всегда приносил одну–две бутылки водки. Хорошо, если спевки наши происходили вечером, и после них певчие расходились домой. Другое дело, если распитие происходило утром в праздничное время, перед тем, как нам нужно было идти в церковь. Из-за этого обстоятельства у нас несколько раз происходили такие казусы: то вместо “Отче наш” пропоем “Достойно есть”, или наоборот. А то было и так, что поп с амвона подает свои возгласы, нам надо петь “Господи помилуй” или что-нибудь подобное, а мы же на хорах не можем петь и даже приникли за барьером, так как Федот и Михаил Бевзы, отчаянные комики и шутники, подпав под особое повышенное смешливое настроение, так нас рассмешили, что мы не в состоянии петь. Хорошо, что наш поп был такого характера, что только боязнь попадьи и ее отца удерживали его от компании с нами. Если бы я участвовал в таких проделках на первом году своего учительства в этом селе, то был бы с позором и прозвищем антихриста выдворен, теперь же все сходило благополучно. Мои хористы, особенно хористки, стали меня уговаривать, чтобы я занялся хозяйством для себя лично и бросил бы работу на попа. Я же решил совместить и то и другое и заарендовал в имении Столыпина 2–3 десятины (теперь точно не помню), которые решил засеять просом и ячменем. Половины десятины находились в дивной дубовой роще на целине, где многие предприниматели решили засеять бахчевые культуры. Одну десятину я арендовал рядом с поповскими посевами, где предстояло выращивать сахарную свеклу.

В школе же у меня полным ходом шло обучение русскому языку, арифметике и письму. Старшая группа, состоявшая из десятка с лишним человек, готовилась к экзаменам. Хотя мебелировка школы оставалась прежней, но у нас уже был классный журнал, в котором велся учет посещений учащимися школы, висело расписание. Церковнославянским книгам было отведено в расписании определенное и весьма скромное, в сравнении с недавним прошлым, место. Наблюдателем школы были присланы учебники Священной Истории Ветхого Завета. Все-таки это были книги, по которым можно было упражняться в чтении по русскому алфавиту и вообще в понимании русского языка, что было гораздо лучше, чем обучение по церковнославянским книгам. Учащиеся уже не протестовали против карандашей, чернил и бумаги. Смешно сказать, и даже теперь неловко сознаться, что чернильные пятна на досках столов моей школы тогда радовали меня. Они свидетельствовали, что архаическая, так сказать, допетровская школа, уступила место современной школе с ализариновыми химическими чернилами.

Весной я повез свою старшую группу в Сумовку, где она держала экзамен наряду с учащимися других школ. Не буду хвастать, если скажу, что мои ученики

оказались подготовленными не хуже учащихся других школ, но конечно уступали в подготовке школы моего отца. Как бы то ни было, но такое выступление моих учеников произвело громадный эффект и в селе, и среди учащихся. Выше я уже упоминал, что получение учениками после экзамена льготы о воинской повинности произвел решительный и окончательный переворот в пользу школы и для меня лично. Тут как раз произошло еще одно событие также в пользу школы. В сборщики поземельного и вообще сельских налогов был избран самый смиренный и небожий крестьянин. Старостой же был бывший солдат, грамотный. Всякие сборы собирались с домохозяев соответственно имеющейся в его наделе полевой земли. С десятины полагалась определенная сумма. С имеющего, допустим, 5–6 десятин, эта сумма увеличивалась соответственно в 5–6 раз. С части десятины бралась часть налоговой суммы и т. п. Так как наделы по разным бытовым условиям (распределение земли по смерти главы хозяйства между наследниками, выдел по выходе замуж, женитьба и т. п.) комбинировались различными количествами, то высчитывать, сколько с кого следует получить сбора, особенно тогда, когда получались числа с дробью, было не всякому под силу, а тем более теперь, вновь избранному сборщику. Староста, пользуясь этим, постарался внести причитающиеся с него и со своих родственников и некоторых хороших знакомых налоги в значительно приуменьшенном виде. Я однажды присутствовал при таком обчете бедняка, без всякого намерения уличить кого-либо в обмане, а только для того, чтобы доказать, что расчет происходит неправильно, принял участие в счете. Присутствующие согласились с моим расчетом и, главное, убедились, что я грамотный. Вот до чего у жителей села было превратное мнение об учителе и его знаниях! С той поры сборщик налогов ни шагу не хотел делать без меня. Я помогал ему, сколько мои дела позволили. Когда я уходил на работы в поле, сборщик не собирал податей. Были случаи, что я иной раз уходил домой в Сумовку, а жена сборщика приезжала сюда за мною и не отставала до тех пор, пока я не возвращался с ней в Беризки.

Вскоре со всеми своими горестями и заботами сельчане стали обращаться ко мне. Я стал в селе что-то вроде почетного жителя. С достоверностью могу сказать, что многие зажиточные крестьяне, имеющие дочерей на выданье, желали заполучить меня в зятя. Один из крестьян, бывший до сих пор моим злым недоброжелателем, специально устроил пирушку только для того, чтобы на ней помириться со мной. Как мало надо, чтобы сделать пользу народу, и как народ отзывчив на внимание к нему! О том, что сельчане стали уважать меня, видно даже было из того, например, что они наперебой меня приглашали на все свои семейные торжества. Приглашали даже на крестины, на которых я, будучи еще сравнительно молодым, а, главное, не женатым, по неписаному сельскому кодексу правил даже не имел права участвовать.

В нашей местности существовал обычай, что молодые после венчания идут, прежде всего, к попу, затем к дьяку и к некоторым из более уважаемых родственников и с троекратными земными поклонами приглашали к себе на свадьбу. Так теперь всякая новобрачная пара после посещения попа заходила ко мне с этой церемонией. Конечно, я не мог принимать участия во всех празднествах: не хватало ни времени, ни желания, ни даже средств, так как почти на каждом таком торжестве надо было расходоваться и за венчания на свадьбах, и за букеты из калины и цветов на крестинах. Кроме того, на всех этих торжествах надо было следить за собою, чтобы не переусердствовать в выпивке, но и не быть чересчур воздержанным. Известно, что православное славянское гостеприимство в высшей

степени свойственно украинцам. Обычно в таких случаях хозяева усиленно упрашивают “пригубить еще чарку”, или “покоштовать отравы”. Вообще получаются сцены, как в “Демьяновой ухе”. Но и отказы от кушания и выпивки воспринимаются хозяевами как обиды, как пренебрежение их угощением. Прожив свою длительную жизнь и впоследствии побывав во многих слоях нашего народа на всем его необъятном просторе расселения, я не встречался с таким тонким и сложным церемонием угощения, как существовал здесь.

Мое хозяйничанье на арендованных полях дало мне мало. Я все обработал сравнительно хорошо и своевременно. В этом мне помогли еще и хористы и другие доброжелатели. У нас работа протекала как “маевки”. Урожай получился хороший. Толку же из него не вышло никакого. Достаточно сказать, что раза 2–3 я вывозил огурцы своей бахчи на базар. Там зачастую происходил такой диалог между мною и покупателем: “Что хотите за мешок огурцов?” – спрашивает покупатель. “15 копеек”, – отвечаю я. “С мешком, что ли?” – говорит покупатель и уходит. При возвращении домой я эти огурцы просто вываливал в первую попавшуюся канаву. Дыни же и арбузы я привозил в школу. Арбузы на целинной земле получились замечательно сахаристые. Знакомые и хористы при удобном случае забегали ко мне по вечерам и в праздничные дни и с удовольствием их поедали. Дынь же никто не любил, а так как они скоро портились и притом сильно пахли (их присутствие уже по запаху давало о себе знать), то я вынужден был их выбрасывать на улицу по ночам, к большому удовольствию коров, которые на рассвете, идя к стаду, поедали их. Также я не реализовал урожая ячменя и проса. Ячмень, помнится, я отдал одному из своих доброжелателей, ссужавших меня своими лошадьми, а просо, которое дало богатый урожай и которого я намолотил мешка четыре, было обменено на сало. Сало это хранилось в ящике стола и израсходовано было зимой на закуску моими певчими, часто остававшимися после слесок и колядок ночевать в школе. Зачастую мы так и ели его без хлеба. Мне же часто приходилось есть его без хлеба, так как иной раз, особенно когда у попа были гости, обед или ужин мне по забывчивости или совершенно не присылались, или сильно запаздывали.

Описывая свои неудачи с хозяйничанием, дополню их еще сообщением о заработке на свекле. По сдаче урожая своей свеклы на завод вместе с поповской свеклой я получил 60 рублей. Сумма эта была для меня немалая. Насколько она была правильно исчислена, я не вникал. С меня было достаточно, что я имею столько денег, о чем я никогда и не мечтал. На рублей 12 этих денег, поддавшись какому-то лживому объявлению, опубликованному в газете, я успел выписать из Варшавы никелированные карманные часы с какими-то брелоками. Часы оказались весом почти в полфунта и требовали завода два раза в сутки. Они настолько были неубедительны как часы, что я их в скором времени утопил в Буге. Остальная же сумма рублей в 50 погибла для меня еще более бесславно. Мой поп, в сущности добрый малый, был отчаянный картежник. С наступлением зимы он по ночам стал устраивать поездки по знакомым экономиям, где собирались картежники. Это делал он и раньше, теперь же, я не могу с уверенностью сказать, с определенной ли целью или все это произошло случайно, он стал брать меня с собой. Мало помалу и я увлекся картежной игрой и в один день спустил все свои денежки до последней копейки. Все так я считал, что в этом исходе всецело виновен поп. Да и вся обстановка моего проигрыша явно доказывала, что меня “разыграли”.

В этом селе я проучительствовал несколько зим. Каждую весну происходили удачные выпуски учеников. Несмотря на то, что отношение общества к школе

вообще, а ко мне в частности было хорошее, улучшить обстановку не удавалось. На сходах я несколько раз поднимал вопрос об устройстве ученических парт и настилки пола. Сход обычно соглашался со мной. Но когда дело доходило до назначения определенной суммы расходов, то тут постоянно происходили объяснения, что теперь времена тугие, израсходовано много денег на то и другое, и что расход на школьные надобности надо отложить на дальнейшие лучшие времена.

Классная доска у нас уже была довольно приличная, мел и разрезные азбуки покупались беспрекословно. В школе появился классный журнал и некоторое подобие библиотеки, к сожалению, состоявшей исключительно из учебников. Во всяком случае, такая библиотека доказывала прогресс школьного дела, так как в ней имелись и задачки, и арифметика, и сборники диктантов. Не считаясь с пресловутым расписанием для церковноприходских школ Пресвященного Дмитрия, я составил свое произвольное расписание, которое и вывесил на стенке школы. Были и заведены у нас дежурства учеников старшей группы.

За все четыре года я не помню случая, чтобы зашел поп посмотреть, как идет у меня преподавание. Если же и приходил от скуки, то заглядывал только в мое помещение и там посвистывал. Может быть, он иной раз из коридора подсматривал или подслушивал, как я веду себя среди ребят. Это было весьма возможно при его характере, но помню твердо, что он в своей школе, которой считался заведующим и законоучителем, ни одного раза не дал урока по закону Божьему. Также он никогда не спрашивал, как у меня идут школьные дела. Тем не менее, надо все-таки отдать справедливость, что в то время, когда село было против меня, он решительно меня отстаивал. Правда, у меня осталось смутное подозрение, что это делалось не без расчетов, и я был ему нужен как дешевый работник по хозяйству. В сущности, он был среди попов уживчивым человеком, а такие встречались нечасто.

Memoirs of I. Marikovs'kyi

Hrybanova O.

Hrybanova O. provides description of an unpublished manuscript of I. Marikovs'kyi, a village teacher from the State Archives of Alma-Ata Oblast (Republic of Kazakhstan).